

Людмила Сараскина

«Был один старый грешник в восемнадцатом столетии...»
(Вольтер в произведениях Ф.М. Достоевского)

Минувшим летом в Ясной Поляне проходила конференция «Толстой и Вольтер», организованная яснополянским музеем и университетом Сорбонна Париж-3. У меня был доклад «Толстой и Вольтер – эмиссары Просвещения. Параллели и созвучия». После выступления мне задали вопрос: собираюсь ли я продолжать работу по теме «Вольтер и русская литература», на что я твердо ответила, что в ноябре сделаю доклад в Музее Достоевского в Петербурге – «Вольтер в произведениях Достоевского». Немедленно прозвучала реплика от организаторов конференции: «Но ведь Достоевский его ненавидел!»

Разумеется, следует опровергнуть эту несправедливую точку зрения.

У меня нет никаких сомнений, что имя Вольтера, его личность, его идеи и роль, которую он сыграл в европейской и русской культурах, горячо волновали Достоевского.

1

Стоит, наверное, начать, с кружка братьев Бекетовых и братьев Майковых, где Достоевский стал бывать с осени 1846 года и где к нему относились со всей теплотой. В их обществе 25-летнего Достоевского считали маститым писателем – Белинскому даже пришлось одернуть молодого критика Валериана Майкова за неподобающее перечисление: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский. Дружба с Бекетовыми и Майковыми стала для Достоевского опорой и помогла пережить тяжелую травму разрыва с кружком Белинского и с ним самим. Достоевский напишет о Валериане Майкове: «Много обещала эта прекрасная личность, и, может быть, много мы с нею лишились» (18: 70).

Салон Майковых не принадлежал к числу великосветских, не привлекал к себе больших знаменитостей. Здесь находили приют начинающие авторы, талантливые любители, преданные поклонники прекрасного; многие являлись со своими рукописями. Валериан Майков стал идейным вдохновителем первого выпуска «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка». По его замыслу, «Словарь» должен был сыграть в России такую же роль, какую сыграла «Энциклопедия» Вольтера (*Dictionnaire philosophique*). Первоначально она называлась «Карманный философский словарь» и была анонимно опубликована в 1764 году в Женеве (из конспиративных соображений на титуле был указан Лондон). Это была одна из самых значительных акций просветительства – словарь имел огромный успех, широко распространяясь не только во Франции, но и во многих других европейских странах до России включительно. Он в алфавитном порядке излагал взгляды автора на природу власти, религии, войны. Оппоненты (противники) писали о «Словаре»: «Его все читают, все его цитируют – военные, магистраты, женщины, аббаты; это чаша,

из которой все состояния и все возрасты отравляются ядом безбожия...»¹ Вызвав массу озлобленных опровержений, «Философский словарь» подвергся юридическому осуждению со стороны властей. Его приговорили к сожжению суды Женевы и Парижа, папской курией он был включен в «Индекс запрещенных книг». В России отдельные статьи из «Философского словаря» переводились и издавались с конца XVIII века.

Издание, предпринятое кружком петрашевцев, имело своей целью, так же, как и «Энциклопедия» Вольтера, – распространение передовых идей в России. Словарь вышел с посвящением главному начальнику военно-учебных заведений великому князю Михаилу Павловичу, что должно было защитить издание от преследований цензуры. Вышедший в 1846 года второй выпуск был конфискован, в последующем почти весь его тираж был уничтожен, а издание остановлено. В ходе суда над петрашевцами издание словаря составило один из пунктов обвинительного заключения.

И действительно: в знаменитой статье из «Словаря» Вольтера «Атеист» были темы, которые взволнованно обсуждались на собраниях петрашевцев: о противоречиях в толковании Священного писания. «Теология часто ввергала умы в атеизм, а философия в конечном итоге их извлекала из этой бездны. В самом деле, некогда следовало извинять людям сомнение в божестве, коль скоро единственные лица, возвещавшие им это божество, спорили о его природе. Первые отцы церкви почти все делали своего Бога телесным; следующие поколения отцов церкви, отказывая божеству в протяженности, помещали его тем не менее в некой части неба; согласно одним из них, он сотворил мир во времени, согласно другим – сам создал время; эти приписывали ему сына, имеющего образ его и подобие, те вообще отрицали за сыном какое-либо сходство с отцом. Споры шли также о способе, каким третья ипостась проистекала из первых двух... Когда люди видели, что доверенные лица Бога столь мало между собой согласны и из века в век провозглашают друг другу анафему, однако все они согласны между собой в смысле непомерной жажды богатства и власти, и когда, с другой стороны, взгляд задерживался на необъятном числе преступлений и бед, поражавших чумой землю, причем многие из этих бед были вызваны самими диспутами наших духовных пастырей, тогда – надо это признать – разумным людям, по-видимому, показалось дозволенным усомниться в существовании столь причудливо возвещенного бога, а человеку восприимчивому решить, что бога, который мог добровольно породить столько несчастных, не существует»².

Вольтер явился крестным отцом Словаря, и, конечно, его имя и его идеи громко звучали в компании петрашевцев.

Еще громче прозвучало имя фернейского старца в знаменитом письме Белинского к Гоголю: Достоевский не только слышал это письмо в чтении, но, как известно, сам его читал вслух.

¹ См.: *Chaudon*. Dictionnaire. Anti-Philosophique. P., 1767. P. V.

² См.: *Вольтер*. Философские сочинения. М., 1988. С. 620–621.

Белинский категорически не принимал религиозных упований Гоголя, утверждая, что русский народ – это глубоко атеистический народ. Белинский не признавал апелляции к церкви, которая «всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма», «служгой и опорой светской власти» и негодовал, что с ней Гоголь связывает Христово учение. «Что вы нашли общего между Ним и какою-нибудь, а тем более православной церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину Своего учения. И оно только до тех пор и было *спасением* людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, – чем продолжает быть и до сих пор. Но смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти Его и кость от кости Его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи»³.

И это была правда: в то время как в XVIII веке просвещенные европейцы осуждали пытки, применяемые инквизицией, католическая церковь продолжала их защищать. Применение насилия против врагов церкви защищал папа Пий IX, о котором много писал Достоевского, в знаменитом *Syllabus Errozum*, «Списке важнейших заблуждений нашего времени» (1864). Силлабус анафематствовал пантеизм, натурализм, рационализм, социализм, коммунизм, тайные общества, библейские общества, принципы свободы совести и отделения Церкви от государства, выступающих против Церковного государства, считающих протестантизм одной из Церквей и др. Впервые в истории Нового времени римский первосвященник бросил открытый вызов всей современной культуре, провозглашая самые реакционные идеи. Тютчев написал горькое и гневное стихотворение «Encyclica» (1864). Папа назывался «лженаместником Христа».

Был день – когда господней правды молот
Громил, дробил ветхозаветный храм,
И, собственным мечом своим заколот,
В нем издыхал первосвященник сам.

Еще страшней, еще неумолимей
И в наши дни – дни Божьего суда
Свершится казнь в отступническом Риме
Над лженаместником Христа.

Столетия шли, ему прощалось много,
Кривые толки – темные дела –
Но не простится правдой Бога

³ Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959. Т. 10. 1955. С. 214–215.

Его последняя хула...

Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет, —
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред!»

В год вступления (1878) на папский престол нового папы Джоаккино Печчи, принявшего имя Лев XIII, отмечалось столетие со дня смерти Вольтера, интеллигенция, в противовес обскурантизму Ватикана, провозгласила примат науки и разума. На улицах Рима висели манифесты, газеты прославляли Вольтера и пропагандировали идеи просветителей. Пафос был искренним: образованная Италия была охвачена стремлением создать философию и культуру, отвечавшие запросам своего общества. В «Дневнике писателя» Достоевский предвидел, что демократизация католической церкви неизбежна.

...Возвращаясь к письму Белинского, можно не сомневаться, как именно читал его Достоевский. Отношения с Белинским были прерваны, обида на него жгла душу, но письмо вызывало симпатии и ответное волнение. О *полном сочувствии*, которое испытал Достоевский при чтении письма, писал Орест Миллер⁴; «симпатичным голосом» чтеца и его мастерским чтением был поражен Ястржембский⁵ (шпион Антонелли донесет, что письмо произвело общий восторг, Баласогло пришел в исступление, все общество было наэлектризовано). У Достоевского достанет благородства сказать следствию, что покойный Белинский был «превосходнейший человек», которого ожесточила болезнь, «очерстила его душу и залила желчью его сердце»; «в нем явились вдруг такие недостатки и пороки, которых и следа не было в здоровом состоянии» (18: 127).

Свой разрыв с Белинским он изобразит как спор о направлениях в литературе и будет утверждать, что прочел всю переписку не только из уважения к уже умершему замечательному человеку, писавшему статьи с большим знанием дела, но также из щекотливого чувства по поводу своей с ним литературной ссоры. «Я только теперь понял, что сделал ошибку и что не следовало мне читать этой статьи вслух; но тогда я не спохватился; ибо даже не подозревал того, в чем могут обвинить меня, не подозревал за собой греха» (18: 128).

2

Надо сказать, что ненависти к вольтерьянству и к самому Вольтеру Достоевский не испытывал ни в молодые годы, ни позже. Достойно упоминание знаменитое признание Достоевского в комиссии по делу петрашевцев. «Если *желать лучшего* есть либерализм, *вольнодумство*, то в этом смысле я, может быть, вольнодумец. Я вольнодумец в том же смысле, в котором может быть

⁴ См.: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. СПб., 1883. С. 93.

⁵ Там же. С. 94: «Чтение письма послужило поводом к осуждению как Достоевского, так и меня, за то, что я выражал одобрение и сочувствие мыслям письма и даже *кивал головой*», — замечал Ястржембский.

назван вольнодумцем каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином, чувствует себя вправе желать добра своему отечеству, потому что находит в сердце своем и любовь к России, и сознание, что никогда ничем не повредил ей...» (18: 120).

Конечно, вольнодумство не равно вольтерьянству (хотя толковые словари и ставят между ними знак равенства), но можно заметить, как пластично и как часто вводит Достоевский имя Вольтера в контекст своих произведений. Защита, если не сказать апология, Вольтера поручается симпатичнейшим персонажам. Слово гувернантке-француженке из «Неточки Незвановой»: «Мадам Леотар была чудесная женщина и прежде всего не любила обижаться: но затронуть кого-нибудь из любимцев ее, потревожить классическую тень Корнеля, Расина, оскорбить Вольтера, назвать Жан-Жака Руссо дурным человеком, назвать его варваром, – боже мой! Слезы выступили из глаз мадам Леотар; старушка дрожала от волнения» (2, 216). Вот в пику Фоме Фомичу рассуждают простодушные герои «Села Степанчикова», возражая тем, для кого все сочинители – вольтерьянцы: «Сочинители волтерьянцы-с? – проговорил Ежевикин, немедленно очутившись подле господина Бахчеева. – Совершенную правду изволили изложить, Степан Алексеевич... Меня самого волтерьянцем обозвали – ей-богу-с; а ведь я, всем известно, так еще мало написал-с... то есть крынка молока у бабы скиснет – всё господин Вольтер виноват! Всё у нас так-с...

– Ну, нет! – заметил дядя с важностью, – это ведь заблуждение! Вольтер был только острый писатель; смеялся над предубеждениями; а вольтерьянцем никогда не бывал! Это всё про него враги распустили. За что ж, в самом деле, всё на него, бедняка?...» (3, 135).

Вот старичок инвалид, смотритель музея, сопровождает посетителей Пантеона, пришедших поглядеть на великих людей. Автор «Зимних заметок о летних впечатлениях» с ироническим сочувствием рисует восторженное отношение смотрителя к гениям Франции. «Дорогой он говорил все еще как человек, немного только шамкая за недостатком зубов. Но, сойдя в склепы, немедленно запел, только что подвел нас к первой гробнице:

-- Si-got Voltair [Здесь погребен Вольтер] – Вольтер, сей великий гений прекрасной Франции. Он искоренял предрассудки, уничтожал невежество, боролся с ангелом тьмы и держал светильник просвещения. В своих трагедиях он достигнул великого, хотя Франция уже имела Корнеля.

Он говорил, очевидно, по заученному. Кто-нибудь когда-нибудь написал ему на бумажке рацею, и он ее вытвердил на всю жизнь; даже удовольствие засияло на его старом добродушном лице, когда он начал перед нами выкладывать свой высокий слог...

-- Si-got Jean Jacques Rousseau [Здесь погребен Жан-Жак Руссо, человек природы и истины], -- продолжал он, подходя к другой гробнице, – Jean Jacques, l'homme de la nature et de la vérité!

Мне стало вдруг смешно. Высоким слогом все можно опошлить. Да и

видно было, что бедный старик, говоря об *nature* и *vérité*, решительно не понимал, о чем идет речь.

– Странно! – сказал я ему. – Из этих двух великих людей один всю жизнь называл другого лгуном и дурным человеком, а другой называл первого просто дураком. И вот они сошлись здесь почти рядом.

– Мсье, мсье! – заметил было инвалид, желая что-то возразить, но, однако ж, не возразил и поскорей повел нас еще к гробнице» (5, 89).

Заметим, кстати: посетитель Пантеона хорошо осведомлен о характере отношений между Руссо и Вольтером, об их взаимной антипатии.

Персонажи романов Достоевского отлично владеют материалом и смело вступают в дискуссии на самые сложные, собственно, центральные вольтеровские темы. «Дьявол одинаково властвует человечеством до предела времен еще нам неизвестного, – утверждает в «Идиоте» Лебедев. – Вы смеетесь? Вы не верите в дьявола? Неверие в дьявола есть французская мысль, есть легкая мысль. Вы знаете ли, кто есть дьявол? Знаете ли, как ему имя? И не зная даже имени его, вы смеетесь над формой его, по примеру Вольтеру, над копытами, хвостом и рогами его, вами же изобретенными; ибо нечистый дух есть великий и грозный дух, а не с копытами и с рогами, вами ему изобретенными. Но не в нем теперь дело!..» (8, 311).

Совершенно поразительно прозвучало в «Бесах» сравнение писателя Кармазинова как таланта средней руки с истинными литературными величинами. Кто же они? «О, тут совсем не то, что с Пушкиными, Гоголями, Мольерами, Вольтерами, со всеми этими деятелями, приходившими сказать свое новое слово!» (10, 69) – восклицает Хроникер. Вольтер поставлен в один ряд с Пушкиным, Гоголем и Мольером как творец нового слова. Это дорогого стоит.

3

Интерес Достоевского к скептической философии Вольтера, его личности и его роли в художественной и философской жизни Европы – факт, документально засвидетельствованный. В конце 1860-х годов у Достоевского возникает замысел романа «Атеизм» – для этой работы ему был нужен главный, первостепенный источник. Достоевский находит его безошибочно. «Вот вы спрашиваете в письме вашем, – пишет он в апреле 1869-го Н.Н. Страхову, – что я читаю. Да Вольтера и Дидро всю зиму и читал. Это, конечно, мне принесло и пользу и удовольствие» (29, кн. 1: 35). «Во Флоренции, к нашей большой радости, – вспоминала А.Г. Достоевская, – нашлась отличная библиотека и читальня с двумя русскими газетами, и мой муж ежедневно заходил туда почитать после обеда. Из книг же взял себе на дом и читал всю зиму сочинения Вольтера и Дидро на французском языке, которым он свободно владел»⁶. Разумеется, это были философские статьи из «Энциклопедии», пьесы, поэмы – все это Достоевский позже обильно цитировал, упоминал: все это вошло в ткань его собственных произведений.

⁶ Достоевская А.Г. Воспоминания. М.: Правда, 1987. С. 206.

Но Достоевского интересовало не только ЧТО писал Вольтер на ту или иную тему, но и КАК он писал о том, что его волновало. В январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год Достоевский пишет о страстной вере Вольтера и Дидро, имея в виду их антиклерикальные, просветительские взгляды и тот жар, с которым они отстаивали свои убеждения – ведь выражение «страстная вера» было одним из любимых у Достоевского. «Вспомните прежних атеистов: утратив веру в одно, они тотчас же начинали страстно верить в другое. Вспомните страстную веру Дидро, Вольтера... У наших — полное *tabula rasa*, да и какой тут Вольтер: просто нет денег, чтобы нанять любовницу, и больше ничего» (22: 6). В записях к «Дневнику писателя» эта мысль выражена еще отчетливей: «Если не религия, но хоть то, что заменяет ее на миг в человеке. Вспомните Дидро, Вольтера, их век и их веру... О, какая это была страстная вера. У нас ничего не верят, у нас *tabula rasa*. Ну хоть в Большую Медведицу... хоть в какую-нибудь великую мысль» (24, 67).

Без преувеличения можно сказать, что Достоевский даже и учился у Вольтера, его умению «свистать». «Вольтер целую жизнь свистал, и не без толку и не без последствий. (А ведь как сердились на него, и именно за свист)» (19, 139), – замечает он на полях статьи Страхова «Нечто о полемике». Эта похвала Вольтеру – признательная дань сатире и собственная склонность Достоевского к шаржу, карикатуре, злободневной полемике, которыми пронизано все его творчество – как в романах, так и в публицистике. Это дань тем качествам сатиры, которыми обладал Вольтер, тому орудию насмешки погасивший, по слову Белинского, костры фанатизма и невежества в Европе, и которая, как замечает Достоевский, утеряна современниками.

Литератор-неудачник Иван Иванович из рассказа «Бобок» сообщает о своем творческом намерении: «Вольтеровы бонмо хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повыбили!» (21, 42). Школа Вольтера приговаривается Достоевскому в общении с молодыми литераторами. Так, он объясняет Вс. С. Соловьеву что есть искусство парадокса: «Если б многие из известнейших остроумцев, Вольтер например, вместо насмешек, намеков, полуслов и недомолвок, вдруг решились бы высказать всё, чему они верят, показали бы всю свою подкладку разом, сущность свою, – то, поверьте, и десятой доли прежнего эффекта не стяжали бы. Мало того: над ними бы только посмеялись. Да человек и вообще как-то не любит ни в чем последнего слова, “изреченной” мысли, говорит, что:

Мысль изреченная есть ложь» (29, кн. 2: 102).

Почти ни один роман Достоевского не обходится без цитат из сочинений Вольтера, его крылатых фраз. «Далеко еще человеку до муравейника!» – восклицает автор «Зимних заметок...», отсылая читателя к философской повести Вольтера «Микромегас». Свидригайлов, издеваясь над Раскольниковым, произносит знаменитое: «Где только не гнездится добродетель?» (6: 371) из «Жизни Мольера». Версилов, в ожидании рассказа

Аркадия цитирует предисловие к «Блудному сыну»: «Tous les genres...» – «Все жанры хороши, кроме скучного» (13: 91). По иронической ассоциации с самой, пожалуй, расхожей фразой Вольтера: «Если Бога нет, его следовало выдумать» («Послание к автору книги о трех лжецах») некий безымянный персонаж романа «Бесы», выслушав атеистическую агитацию Петра Верховенского, произносит: «Если Бога нет, то какой же я после того капитан» (10: 180). Характерно, что Ставрогин понимает, о чем речь («Довольно цельную мысль выразил»), а Верховенский – нет. Этой мыслью одержим и Федор Павлович Карамазов, только его не Бог волнует, а ад, потолок в аду и крючья на потолке: есть ли они? Ведь если их нет, кто же его потащит? «Потому что если уж меня не потащат, то что ж тогда будет, где же правда на свете? Il faudrait les inventer, эти крючья (их следовало выдумать, эти крючья), для меня нарочно, для меня одного» (14, 23).

Идея Бога как силы, сдерживающей и дисциплинирующей человеческую совесть, многократно обсуждается на страницах «Дневника писателя»⁷ и в «Братьях Карамазовых». Мысль Вольтера, замечу, организует весь диалог в главе «Братья знакомятся». Иван начинает: «Видишь, голубчик, был один старый грешник в восемнадцатом столетии, который изрек, что если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать, s'il n'existait pas Dieu il faudrait l'inventer. И действительно, человек выдумал Бога. И не то странно, не то было бы дивно, что Бог в самом деле существует, но то дивно, что такая мысль – мысль о необходимости Бога – могла залезть в голову такому дикому и злому животному каков человек, до того она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того она делает честь человеку» (14, 213-214).

Вольтера в «Братьях Карамазовых» вспоминают и взрослые, и дети. Спор Ивана и Алеши плавно перетекает в дискуссию Алеши с юным Колей Красоткиным: «Можно ведь и не веруя в Бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество?..

– Вольтер в Бога верил, но, кажется, мало, и, кажется, мало любил и человечество, – тихо, сдержанно и совершенно натурально произнес Алеша, как бы разговаривая с себе равным по летам, или даже со старшим летами человеком. Колю именно поразила эта как бы неуверенность Алеши в свое мнение о Вольтере и что он как будто именно ему, маленькому Коле, отдает этот вопрос на решение.

– А вы разве читали Вольтера? – заключил Алеша.

– Нет, не то чтобы читал... Я впрочем “Кандида” читал, в русском переводе... в старом, уродливом переводе, смешном...

– И поняли?

– О да, всё... то есть... почему же вы думаете, что я бы не понял? Там, конечно, много сальностей... Я, конечно, в состоянии понять, что это роман философский и написан, чтобы провести идею...» (14, 500).

⁷ См., напр., вольное переложение идеи Вольтера в «Дневнике писателя» за 1876 г.: «Бога нет, разумеется, и вера вздор, но религия нужна для черного народа, потому что без нее его не сдержать» (22, 96).

Очевидно, что и Алеша, не кончивший курса в гимназии, *как бы* читал Вольтера, а четырнадцатилетний Коля *как бы* понял, если даже и читал «Кандида». Скорее всего оба молодых человека что-то от кого-то слышали и понятно, что разговор о Вольтере, как и о вере им необходим. Фраза: «Вольтер в Бога верил, но, кажется, мало» – повисает в воздухе, требует разъяснений.

Поэтому – слово Вольтеру. В 1722 году он пишет антиклерикальную поэму «За и против», где доказывает, что христианская религия, предписывающая любить милосердного Бога, на самом деле рисует Его жестоким тираном. И декларирует:

Нет, Бог мой не таков, и лжет изображение
Того, Кто в этом сердце свят.
Его, боюсь я, оскорбят
Такая похвала, такое поношенье.
Услышь, Господь, молю, рожденное тоской,
Из сердца вырванное слово.
Неверью моему ты не отмстишь сурово,
Мой дух раскрыт перед тобой,
И сердце – не хулить, а чтить Тебя готово:
Я – не христианин; тем Ты верней любим⁸.

Кажется, что вопрос, поставленный в «Братьях Карамазовых», признавал ли Вольтер Бога и любил ли его, служит аккомпанементом к той теме, которая прозвучит в главе «Бунт». Незадолго перед началом работы над романом, в декабре 1877 года, Достоевский записал первым пунктом плана, рассчитанного на 10 лет: «Написать русского Кандида» (17: 14). Спустя 36 лет эту запись прокомментировал Л.П. Гроссман. «Представьте себе, – писал он К.И. Чуковскому в 1913 году, – что и я в последнее время упиваюсь “Кандидом” и Вольтером вообще. Взясся за него по поводу заметки Достоевского о “Русском Кандиде” и раскрыл несколько курьезных совпадений. Оказывается, Достоевский недаром целую зиму зачитывался Вольтером и Дидро!»⁹

Речь, как уже было сказано, шла о зиме 1869–1870 года. Но в полной мере повесть Вольтера «Кандид» и, особенно, его «Поэма о гибели Лиссабона или проверка аксиомы: “Все благо”» понадобились Достоевскому в «Братьях Карамазовых». Веком раньше эта катастрофа уже поставила перед философами эпохи Просвещения вопрос о «жестокости Бога». Может ли человек принять мир, созданный Богом, и поверить в установленную им в мире гармонию при наличии несправедливости, разрушений, зла и страданий невинных людей? Рисуя картины страшного землетрясения 1755 года, унесшего вместе с цунами и пожарами несколько сот тысяч человек за считанные минуты, бедствия,

⁸ *Вольтер. За и против // Вольтер. Философские сочинения. М., 1988. С. 719. Пер. с франц. А. Кочеткова.*

⁹ «...Ваша благородная, изящная, светлая личность». Л.П. Гроссман и К.И. Чуковский: из переписки 1909–1963 годов. Вступительная статья, публикация и комментарии Е. Литвин // Вопросы литературы. 2008. № 1. С. 330–349.

случившегося в праздник Дня всех святых и превратившего столицу Португалии в руины, Вольтер ставит – на сто с лишним лет раньше Достоевского – «достоевский» же вопрос о страдании невинных детей.

Детей, грудных детей в чем грех и в чем вина,
Коль на груди родной им гибель суждена?
Злосчастный Лиссабон преступней был ужели,
Чем Лондон и Париж, что в негах закоснели?
Но Лиссабона нет – и веселимся мы¹⁰.

Иван Карамазов, возвращающий Творцу билет, ибо мира Божьего, ввиду неисчислимых человеческих страданий, принять не может, мыслит и чувствует вполне в духе философов эпохи Просвещения. Вольтер задавал вопросы, на которые ответа не было и нет:

Никем не скован Бог и держит цепь в руках;
Всё выбором его предрешено в веках;
Он благ, Он справедлив, Он волен без предела.
И та благая мощь – терзать нас захотела?
Вот узел роковой, что должно развязать.
Как исцелить недуг, коль про него не знать?¹¹

Ивану Карамазову тоже нет исцеления. Он убежден, что если даже страдания заживут и сгладятся, и в момент мировой гармонии будет все оправдано, искуплено и прощено, и все параллельные линии сойдутся, он все равно не примет этого мира (14: 215). Потому что мировая гармония, основанная на признании неизбежности зла и страдания невинных людей, это и есть узел роковой, так до сих пор никем и не развязанный.

Философская повесть Вольтера «Кандид» имеет подзаголовок «Оптимизм». По версии главного героя, оптимизм – это страсть утверждать, что всё хорошо, когда в действительности всё плохо. Носителем такого безудержного оптимизма как раз и выступает простодушный Кандид, проповедующий принцип своего учителя Панглосса (дословно – Всезнающий): всё к лучшему в этом лучшем из миров. Казалось бы, все силы и стихии природы, всё изошренное зло, до какого только смог додуматься человек, объединились с одной-единственной целью – доказать Кандиду обратное: в мире всё плохо и только плохо, лучше никогда не будет, может быть только еще хуже. Но не таков неунывающий герой Вольтера; он знает и верит: как бы ни было ему плохо, лучшее, конечно, – впереди!

Повесть завершается афоризмом на все времена: надо возделывать свой сад. Он – ключ (хотя и образно-символический) ко всей философии и – шире –

¹⁰ Вольтер. Поэма о гибели Лиссабона или проверка аксиомы: «Все благо» // Вольтер. Философские сочинения. М., 1988. С. 720. Пер. с франц. А. Кочеткова.

¹¹ Там же. С. 721.

ко всему творчеству Вольтера. В нем сконцентрирован социальный оптимизм автора, его вера в вечное древо жизни, олицетворяющее прогресс человечества. Герои Достоевского, в отличие от героя Вольтера, а, может быть, и в экзистенциальном споре с ними, лишены социального оптимизма: Кириллов кончает жизнь самоубийством, чтобы заявить своеволие и протест против Бога, а Иван протестует против мира Божьего, не думая о нем как о самом лучшем из миров, и впадает в белую горячку, тяжелое психическое заболевание.

В заключение надо сказать, что история про одного старого грешника из восемнадцатого столетия – и его «Кандид», и его «Орлеанская девственница», и его поэма о Лиссабоне, и философские статьи из его «Словаря», и вообще спор Вольтера с теодицеей – эта история горячо волновала, если не мучила Достоевского всю его жизнь.